

A rustic stone house with a wooden porch and a tall cypress tree in a rural landscape. The house has a stone facade and a wooden roof. A window with blue shutters is visible. A tall, slender cypress tree stands to the right of the house. The background shows a hilly landscape with terraced fields and a blue sky with white clouds. Three people are standing on the stone steps leading to the porch.

# Дом под синим кипарисом

Шемберг Марина

18+

Шемберг Марина  
**Дом под синим кипарисом**

«Автор»

2020

## **Марина Ш.**

Дом под синим кипарисом / Ш. Марина — «Автор», 2020

Существует теория, что человек рождается с определенной программой движения по жизни. В воображении возникает запутанный лабиринт: коридоры, развилки, тупики. Коридор может вывести в райское место или упереться в глухую стену. Лабиринт обитаем, он населен милейшими существами, которые облегчают путь, или ужасными чудовищам, подталкивающими к бездне. Они могут прибавить сил или забрать последние. Где-то можно остаться надолго и жить счастливо. Где-то, чтобы продолжить путь, придется остановиться, успокоить дыхание, отринуть страхи, подумать или помолиться и вернуться назад, чтобы войти не в правую, а в левую дверь или выбрать другой поворот. В лабиринте всегда дует слабый ветерок - еле ощутимое веяние удачи. Это подсказка, куда двигаться дальше. Но большинство из нас летит по лабиринту жизни, не слыша подсказок и не разбирая дороги.

© Марина Ш., 2020

© Автор, 2020

## Содержание

Дом под синим кипарисом	5
Скалы Мохер	8
Женька	11
Юрик в яблоках	16
Взятие Бастилии	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Шемберг Марина

## Дом под синим кипарисом

### Дом под синим кипарисом

Скорее всего, именно чувство вины, разъедавшее ее душу год за годом, в конце концов, сгустившись, превратилось в болезнь, в боль, которая теперь пожирала ее тело, нещадно терзая его. Лежа ночью в жесткой для ее боли постели, Асия выдергивала из головы – один за другим – свои седые волосы, пытаясь этим острым сиюминутным болезненным ощущением заглушить страдание бесконечно большее. Это продолжалось день за днем. Лоб ее расширялся вверх и в стороны, и однажды утром, взглянув на себя в зеркало, висевшее у выхода на веранду, она увидела в нем почти точную копию своего отца – каким он был в конце жизни. Если верить приметам, теперь она должна была стать счастливой.

Когда-то давно она уже была счастливой. У нее был двухэтажный дом под синим кипарисом, верхушка которого поднималась метра на полтора выше дома. Крыша дома была большой и ровной, как вертолетная площадка, но ей нравились веселые, красные черепичные крыши домов еврейского поселения, примостившегося на соседней сопке, вид на которую открывался из спальни девочек.

Спальня сыновей – их было пятеро – выходила окнами на другую сопку и на другой поселок с висящей между серых кубиков домов башней минарета, откуда в половине пятого утра, а потом через каждые три часа муэдзин собирал всех правоверных на молитву.

Из окна их с мужем спальни были видны улицы и дома ее поселка, дорога, за дорогой – лавка мужа, где продавалось все для строительства: краска, инструменты, плитка для пола и стен, клей, шпаклевка и много, что еще. Красная черепица там была тоже.

За лавкой начинался спуск в долину, на дне долины – широкая, новая дорога, а дальше – холмы, холмы, холмы, поросшие белыми, причудливо изъеденными временем камнями и серебристыми оливами. Каждое дерево росло на своей терраске, окруженной камнями и ровнехонько засыпанной землей. Каждое дерево – сокровище этих мест, огромный труд и большие деньги.

Асия любила окрестные виды. Ее пленила их бесконечная изменчивость в зависимости от времени года, времени суток, прозрачности воздуха. Ей никогда не надоедала эта неповторяемость впечатлений и настроений, эта игра света и тени, пересечение и наложение всех оттенков серебристого и золотого и темно-темно синего, почти черного.

Если ей вдруг становилось грустно или скучно, она переходила из комнаты в комнату и каждый раз убеждалась в бесконечном разнообразии мира, которое, если вдуматься, было гораздо больше, чем просто разнообразие.

Ее восемь детей росли, ходили в школу, учились, строили свои дома, женились, выходили замуж. У нее уже были внуки, которых она любила, но меньше, чем своих детей.

Ее дом, построенный из блоков местного известняка серый снаружи, имевший несколько печальный вид дождливой зимой, внутри в любое время года был просторным, светлым и теплым. Зимой ее младший сын Дави, как никто другой соответствующий своему имени – светлицы и тонкий – разжигал в гостиной большой камин, и вместе с другими братьями и сестрами сидел у огня, наслаждаясь теплом и следя за движением языков пламени.

В ее памяти эти моменты отпечатались, словно фотоснимки: Дави везет товар в лавку, Дави возится с сестрами, Дави со старшим братом, Дави с отцом. Она помнила именно так. Не потому, что любила его сильнее других. Пожалуй, старшего сына она любила больше, ведь

именно старший своим рождением сделал их с мужем союз полноценной семьей. Но старший был жив, благодарение Аллаху, а младший...

Дави учился, как все. Он окончил школу, поступил в университет в Рамалле, как его старший брат.

В ком и когда проросло зерно ненависти, давшее потом столь горькие плоды? Нет, только не в ней, она никогда не взращивала в себе это чувство. Она испытывала отчуждение, иногда раздражение по отношению к самоуверенным людям из соседнего поселка под красными крышами, но никогда не испытывала к ним вражды. У них тоже были семьи. И дети, которые выглядывали из проезжавших мимо машин – кудрявые головы, черные глаза – были похожи на ее детей, и уж точно, ни в чем не были виноваты.

Может быть, ненависть пустила свои корни в душе ее мужа. Торгуя в магазине, на обочине дороги, по которой ездил самый разный народ, он ежедневно имел дело и с жителями из еврейского поселения и, вполне возможно, иногда злился на них, как злился на многих других, потому что обладал вспльчивым характером и потому что торговля и постоянное общение с людьми – нелегкий труд. Он говорил иногда, что для него те, другие, – никто, просто чужаки, инопланетяне. Но это не ненависть. Это отстраненность, отчуждение, все, что угодно, но не вражда.

Или это появилось уже в ее детях. Может быть, в них поселилась и жила неприязнь к чужакам. Асия не всегда могла контролировать их общение с другими людьми, разными людьми. А может быть, все дело в том, что ей не хватило решимости сказать твердое «нет», когда ее младший сын Дави, вернувшись однажды домой из университета, блестя глазами, рассказывал о тех, кто не мирится с оккупацией, о новых университетских товарищах, которые не молчат, а борются с врагами. Ей следовало тогда объяснить сыну, что в убийстве нет правды, нет ничего, кроме чудовищной жестокости и несправедливости.

Для Дави парень, взорвавший себя у входа в супермаркет, был героем, но она-то знала, что это не так. Почему же она промолчала тогда?

Чем их соблазняли – глупых мальчишек – взрослые умные и хитрые мужчины, которые сами никогда не решились бы на этот шаг? Тремястами гурий и сонмом наслаждений в раю? Возможностью выделиться из толпы и стать героем в глазах друзей и знакомых? А может быть, их просто подкупали или запугивали? Она часто думала об этом. Скажи она тогда, запрети, закричи, и все могло бы быть по-другому. В тот момент еще не было поздно. Он еще ходил, жил, дышал, улыбался, смотрел на огонь, его карие глаза под черными, прямыми бровями еще глядели на мир смело и решительно. Он зачесывал волосы назад – по моде, как взрослый, ее семнадцатилетний сын; перекидывал через плечо рюкзак и уходил утром из дома.

Она так и запомнила его в ослепительно-солнечном проеме двери двадцать девятого октября. Он оглянулся, улыбнулся и сказал: «До свидания».

На следующий день, в понедельник, тридцатого октября она, проводив мужа в лавку, возилась на кухне. Под потолком что-то напевал телевизор. Она не обратила внимания, что музыка прервалась для экстренного сообщения. Она не слышала начала, подумав: «Опять что-то случилось».

Кто-то пытался, обвешанный взрывчаткой, войти в рейсовый автобус, а когда шофер не пустил его в салон, взорвал себя на остановке...

Когда назвали имя предполагаемого террориста, Асия почувствовала, как ее сердце, превратившись в камень, ухнуло вниз. Она опустилась на стул и увидела в кадре плачущую женщину с исцарапанным лицом и окровавленной рукой, произносящую непонятные слова на непонятном языке. В руке она сжимала маленький сине-красный детский рюкзак.

– Эта женщина в шоке. Она говорит, что не может найти своего шестилетнего сына, – сказал корреспондент в камеру, когда кто-то накинул на плечи женщины одеяло и повел ее к

машине скорой помощи, – скорее всего ее ребенок – один из тех, кто попал в эпицентр взрыва. Террорист погиб на месте.

Вечером муж сказал, что их сын погиб как герой. Она ничего не ответила. Она даже не заплакала. Но с той ночи ей постоянно стал сниться ее сын Дави: Дави, задумчиво смотрящий на огонь, Дави, смеющийся с другими детьми, Дави, повернувший к ней лицо в солнечном дверном проеме. И плачущая женщина с сине-красным маленьким рюкзачком в руках. И в этом не было никакой правды. И это нельзя было никак объяснить и оправдать.

Именно в тот день жизнь ее кончилась, хотя вначале Асия не поняла этого. Только позже, оглянувшись назад, она увидела, что с того момента дни ее утратили цветность и стали пусты, пусты, как оставленный людьми дом. Она словно провалилась в яму, на самое ее дно, куда не доходило солнце. Она перестала замечать жизнь, занятая своими воспоминаниями и мыслями. Она думала во время молитвы, думала, прибирая дом, думала, готовя еду, думала, разговаривая с людьми, думала во сне, когда видела каждую ночь один и тот же сон. Это были даже не столько мысли и воспоминания, сколько попытка нащупать что-то такое в себе, что никак не давало ей покоя, и это что-то было связано с ее младшим сыном.

Она не заметила, как женились два ее сына и вышли замуж дочери. Она осталась равнодушна, когда в один прекрасный день муж привел в дом еще одну женщину. Только однажды, когда старшая дочь принесла показать новорожденного сына, в ней будто что-то дрогнуло, что-то на мгновение прояснилось, и появилась посторонняя, не связанная с ее замкнутым кругом раздумий мысль о том, что этот младенец – своего рода искупление. Но задержать мысль, развить ее до конца и, возможно, выздороветь Асия не успела, потому что порочный круг раздумий опять засосал ее, а прояснившиеся, было, глаза вновь потухли.

С течением времени чувство вины стало разрушать тело, и душевные страдания дополнились физическими, а потом телесная боль и вовсе вытеснила все чувства и мысли. И Асия, уставшая вспоминать и винить себя, была рада этому. Черные волосы ее поседели, смуглая, гладкая когда-то кожа посерела, ноги перестали слушаться ее, и она оказалась здесь, в доме Бени, где почти забыла обо всем, кроме боли, чей приход или отсутствие означали исчезновение жизни или возвращение ее. За пять дней до смерти, получив в очередной раз короткую передышку между приступами, Асия неожиданно испытала давно забытую радость жизни, вне зависимости от чего бы то ни было. Вскоре после этого она впала в забытие и умерла, не приходя в сознание.

Полина, соседка Асии по комнате, говорила потом, что слышала, как Асия незадолго до кончины разговаривала со своим Дави, при этом на лице ее блуждала счастливая улыбка.

## Скалы Мохер

Ветер становился сильнее с каждой минутой. До края обрыва в этом месте оставалось метра три, не больше, а дальше – на двести метров вниз скала уходила в море. Я смотрела, не отрываясь, себе под ноги, потому что если поднять глаза, то увидишь, что через десяток шагов дорожка забирает вправо, еще ближе к обрыву.

Я сделала два шага и остановилась. Ноги отказывались двигаться дальше. Чтобы преодолеть страх, нужно было чуть-чуть отступить влево, нет – рвануть что было сил влево, там упасть на землю, чтобы ветер не смог утянуть тебя в пропасть, вгрызться в землю и лежать, а когда появятся силы, ползти вперед или назад – не имеет значения – главное, ползти в ту сторону, где короче путь.

Но слева на два метра вверх, а также вперед и назад уходила, сколько хватало глаз, металлическая сетка, прикрепленная к деревянным столбам. Через такую не перепрыгнешь, не перелезешь. Местные фермеры надежно защитили свои участки от неконтролируемого ужаса сотен недоумков, которые не поверили предостережению в самом начале пути. На досках, преграждающих вход на тропу, крупными красными буквами было написано «Внимание! Опасность!!!»

»

Я села на траву, пышно разросшуюся вдоль тропинки, и плотно прижалась спиной к деревянному столбику. Нужно было передохнуть и собраться с мыслями. Впереди, за поворотом дорожки, на самом краю обрыва я увидела высокую, тонкую фигуру, склонившуюся над обрывом. Кто-то рассматривал скалы у себя под ногами. Мое сердце ухнуло, а в кончики пальцев вонзились острые иголки. Я вцепилась в металлические прутья сетки за спиной. Хотелось закричать: «Стой! Что ты делаешь!», но человек над пропастью все равно ничего не услышал бы – ветер свистел и заглушал все звуки. Я отвернулась, чтобы не видеть безумного смельчака.

Нужно было успокоиться. Я закрыла глаза и сидела так какое-то время, не выпуская прутьев сетки из судорожно сжатых пальцев. Главное – не смотреть в сторону этого сумасшедшего, задумавшего недоброе.

Про эти места рассказывают жуткие истории...

Когда через несколько минут я открыла глаза и коротко, таясь, глянула влево, на краю обрыва уже никого не было.

«Надо идти назад, – сказала я себе, – Вперед не получится, там слишком узко и придется проходить мимо того места, где только что стоял человек. Сейчас передохну и двинусь обратно. Что делать, я пока не готова к этому маршруту. Я переоценила свои силы. Ветер слишком силен, а пропасть близка».

Я встала, ощущая прилив сил от принятого решения, и сделала шаг назад. Ветер, будто караулил меня. Он взвыл и рванул с новой силой. Передо мной была длинная узкая тропинка вдоль обрыва – дорога, которую я только что прошла. Она была ничем не лучше и не хуже той, что мне пришлось бы пройти, продолжи я двигаться вперед.

Если бы я могла это сделать!

Я стояла на середине пути. Ветер яростно ревел, море грохотало внизу. Человек, который буква за буквой выводил на заграждении: «Внимание! Опасность!!!» знал, о чем пишет.

«Не понимаешь, что делать – молись», – вспомнила я.

Я не знала ни одной молитвы, только ту, что была во мне всегда, сколько я себя помнила – как абсолютное знание, как основа основ: «Господи помилуй! Господи помилуй!! Господи помилуй!!!»

Далеко на тропинке появилась маленькая фигурка. Следом за мной, тем же путем, шла невысокая, худенькая девушка с рюкзаком на спине. Она шла очень медленно, глядя себе под ноги. Я ждала, не двигаясь с места. В какой-то момент мне показалось, что она подняла голову

и посмотрела на меня. Ветер трепал ее волосы. Я развернулась на сто восемьдесят градусов и пошла вперед. Я шла, не поднимая глаз, мимо того место, где недавно видела склонившегося над обрывом человека, где тропинка почти прилипла к пропасти, где ветер ревел, как дикий зверь.

Потом тропинка свернула от обрыва влево, а я двигалась строго по ней, не оглядываясь и не останавливаясь. Я боялась, что когда оглянусь, девушка с рюкзаком позади меня исчезнет, и я опять останусь одна.

Через два часа я вышла к обзорной площадке, где парковались туристические автобусы. «Скалы Мохер», – сообщала надпись. Вокруг сновал народ, приехавший посмотреть на природное чудо и на океан. Я поняла, что дошла и оглянулась. Девушки с рюкзаком не было видно. Наверное, она затерялась в толпе туристов.

Вечером, сидя с бутербродом и кофе в столовой хостела в ближайшем к скалам Дулине, я рассказывала ребятам, которые ужинали рядом, о своем дневном приключении. Ощущения были еще так близки, что, кидая короткий взгляд назад, я слышала вой ветра, рев океана и ощущала покалывание в кончиках пальцев, как там, на тропинке над обрывом.

Однако повествование на неродном английском добавило в историю новые оттенки, и эти двое, удивляясь моему авантюризму и ужасаясь опасности, которой я добровольно подвергла себя, несколько раз хохотали вслед за мной, как сумасшедшие. Мне было ничуть не обидно.

Один из них – Тобиас, немец, врач-физиотерапевт и фотограф-любитель предложил на следующий день поехать вдоль побережья, чтобы сфотографировать океан и скалы. Я согласилась, предупредив, что в опасные места не полезу – хватит с меня сегодняшних приключений.

Он понимающе улыбнулся и кивнул головой.

На следующий день я наконец-то увидела красоту здешних мест. Море было ярко-синим и спокойным под бледно-голубым тихим небом. На аккуратных, будто подстриженных зелено-вато-желтых холмах паслись разноцветные коровы. Деревенки в несколько десятков выкрашенных белой краской домов среди шелковистых полей выглядели идиллически. Вишневые деревья были сплошь обсыпаны белыми мелкими цветами. Розовели небольшие яблони. Из расщелин береговых скал тянула к солнцу розовые соцветия горная армерия.

Мы доехали до местного Стоунхенджа – мегалитического древнего сооружения. Тобиас долго настраивал аппаратуру и ждал нужного положения солнца, чтобы запечатлеть нагромождение огромных камней наилучшим образом. Он лез в опасные места, заглядывал в расщелины между скал, зависал над водой, чтобы сделать удачные фото. Иногда просил меня помочь ему. Меня не тяготила его дотошность.

Я рассматривала стоящие на возвышенностях старые замки и полуразрушенные крепостные стены, взметнувшиеся вверх над берегами рек и океана.

Солнце припекало. Небо было безоблачным.

– Прекрасная погода, – говорили люди при встрече.

– Замечательный день, – отзывался Тобиас.

Мы долго петляли вместе с проселочной дорогой вдоль высокого берега. Проехав маленькую деревню, прилипшую к обочине, мы вышли из машины и спустились на широкий песчаный пляж. Спуск был пологий, наверху – густая трава, внизу песок – серый и плотный. И только возле воды песок был чистый, почти белый, отмытый волнами. Взрослые и дети прохаживались по пляжу босяком, задрав брюки и подола платья. Никто не купался. Вода еще не прогрелась – начало мая.

Мы тоже потоптались по берегу, разминая ноги и вдыхая тугой йодистый воздух.

Поздно вечером мы добрались до Лимерика и остановились недалеко от центра в маленькой двухэтажной гостинице. Толстая краснолицая хозяйка принесла в номер два верблюжьих одеяла в дополнение к уже имеющимся и разожгла камин на первом этаже.

Бросив вещи и умывшись, мы спустились вниз и долго пили кофе в маленькой гостиной, рассказывая хозяйке почти правдивые истории о своих похождениях. Она благодарно внимала, восхищалась, ахала, закатывала глаза и прижимала к груди большие руки, удивляясь то ли бесконечности мира, то ли глупости, с которой мы подступались к этому миру.

В первом часу хозяйка закрыла входную дверь и ушла отдыхать в комнату за стойкой, а мы поднялись в свой номер. За окном теплом желтым светом горел фонарь. Через дорогу возле окрашенного розовой краской «Beauty Salon» стоял лиловый хетчбек с рекламными надписями, зазывающими постричься и сделать маникюр. В пивбаре рядом с салоном шумел народ.

Вчерашние переживания казались мне далекими и почти нереальными. Но что-то изменилось. Все воспринималось ярче и четче, будто после зимы прилежная хозяйка до абсолютной прозрачности намыла окна.

## Женька

Настька родила Женьку в семнадцать лет.

Отец ребенка, тоже юный, – как был, так и сплыл еще до рождения дочери – тихо и навсегда. Женька его никогда не видела. Для молодой мамы Женька стала последней куклой, а когда Настька наигралась, – обузой, камнем, что не дает оторваться от земли и расправить крылья.

Посодействовала окончательному решению судьбы ребенка Женькина бабушка, Валентина Николаевна. Внучку она не то чтобы очень любила в самом начале ее незадавшейся жизни, скорее, она никак не могла смириться с беспутностью своей дочери Настьки, которая не знамо от кого, неведомо как... В общем, выставила ее на посмешище перед всем городом. Неведомо как.

Хотя как? Было понятно. Упустила дочь Валентина Николаевна, не уследила, пока заведовала магазином, пока руководила людьми и боролась с недостатками. Настька была ребенок-ребенком, а потом сразу – фррр! – взрослая девица, красавица, все при ней. И понеслось!

В городке, где каждая собака Валентину Николаевну знала и уважала, дочь ее не могла быть такой, как вышло – брошенной, несчастной, зарезанной, без мужа и с лялькой на руках. Спасать нужно было ситуацию, и Валентина Николаевна вместе с мужем Владимиром Петровичем решили так: пусть Настька едет учиться в Ленинград, а они возьмут на себя заботу о ребенке.

Настька, у которой материнский инстинкт сформироваться еще не успел, с облегчением вздохнула, вырвалась из городка на чудные просторы Ленинграда и завертелась, закружилась, зажила. Училась она хорошо. Вновь обретенная свобода прибавила сил, блеска в глазах, уверенности, в общем, красоты.

Вскоре подвернулся однокурсник Егор. Умница и красавец. Поженились. Родители Егора помогли с квартирой. Родился у них сын Паша, потом, через два года, дочь Леночка. И зажили они своей семьей. Настя про Женьку иногда вспоминала, но нечасто и без сопливой тоски, знала, что ее мать ребенка не бросит и не обидит.

А Валентина Николаевна, обрета в сорок пять лет второго ребенка, очень скоро прилипла к малышке намертво, и с ней, наконец, реализовалась, как заботливая мать. Что ни говори, а первая и единственная дочь, Настька, так и осталась для нее последней игрушкой.

К Женьке любовь у нее была другая – всепоглощающая, самоотверженная, безусловная. Любовь, которая всех остальных, кто не Женька, сразу ставит на второй план. Очень скоро и Владимир Петрович стал для Валентины Николаевны вторым номером.

Через год Женькино всепроникающее присутствие создало серьезный крен в семейной лодке деда и бабки.

Владимир Петрович, вполне еще молодой, сорокавосьмилетний мужчина, оставшись без прежнего огненно-ласкового внимания жены, ощутил свою обездоленность и неустроенность. Мужчина он был видный, потому рядом с ним быстро образовалось несколько молодых женщин, желающих скрасить его одиночество. Он недолго думал, скоро определился и потребовал от жены развода. Для Валентины Николаевны, жившей все это время на другой планете, в полном неведении о проблемах мужа, такой поворот событий стал полной неожиданностью. Она попыталась было все вернуть на круги своя, но вскоре поняла, что больше теряет, чем приобретет, продолжая настаивать на своем. Здоровье ей необходимо было еще, чтобы поднять внучку. И она отступилась.

Разменяли трешку, и бабушка с двухлетней Женькой оказались в однокомнатной квартире, с хорошей кухней и большой комнатой. Однако после трехкомнатной ухоженной хрущевки, новое жилище выглядело более чем убого.

Валентина Николаевна поплакала-поплакала, но делать нечего – надо жить дальше. Осенью Женька отправилась в ясли, а Валентина Николаевна вышла на работу, как раньше.

– Я – твоя мама, – сказала она маленькой Женьке, которой было в то время, все равно, кого и как называть, главное, чтобы любили.

Настьку, которая своим выкрутасами испоганила ей жизнь, Валентина Николаевна постаралась забыть и из своей и Женькиной жизни удалить. Занятая детьми, мужем, домом и работой, женщина этого даже не заметила. Лет через десять, повзрослев и поумнев, она, было, вспомнила про Женьку, но ребенок уже не хотел знать никаких родственников, кроме «бабули», которая занимала главное место в ее жизни.

Настька, надо отдать ей должное, не обиделась. Зажила и дальше своей жизнью. Время от времени привозила деньги Валентине Николаевне и просила сообщать, если в чем-то появится надобность.

Валентина Николаевна, чем дальше, тем сильнее прикипала к Женьке – мучительно, болезненно, навечно. Мысль о том, что Настька когда-нибудь захочет заявить свои права на внучку, мучила ее нещадно, поэтому, как только ребенок начал соображать и интересоваться, бабушка отменяла одним махом все возможности:

– Бросила она нас. И тебя, и меня, – сказала она коротко.

Сказала – как отрезала.

Женька погрустила немного, потому что тоже хотела, чтобы за ней в детский сад приходила молодая, красивая мать, как у других детей, а не бабушка. Но грусть надолго не задержалась в темно-русой Женькиной головке – у нее был легкий характер. Да и, надо отдать ей должное, Валентина Николаевна всегда выглядела молодо и современно. И одевалась красиво.

Женька росла, в маленькой квартирке становилось все теснее. Чтобы не загромождать и без того ограниченное пространство, Валентина Николаевна в один прекрасный день заменила кровати красивым раскладным диваном, который собирался на день, а порядок и чистоту возвела в такой высокий ранг, что трудно и представить.

Теперь бабушка и внучка спали вместе.

Как говорить, с кем спишь, того и любишь. Так и было: друг друга любили они бесконечно. Хотя, бесконечность любви Валентины Николаевны была бесконечнее Женькиной любви, что впрочем, и понятно.

В школе Женька звезд с небес не хватала, но училась ровно, без двоек. Хотела быть парикмахером, потом стилистом, потом косметологом, чтобы знать, как обходиться с женской красотой и доводить ее до совершенства. После школы устроилась администратором в салон красоты в Петербурге.

Когда Женьке исполнилось семнадцать лет, у нее появился мальчик. Валентина Николаевна напряглась, ожидая всяких неприятностей от «этого чертового возраста». Она бдила день и ночь, чтобы у ее внучки-дочки Женьки не получилось, как когда-то у Настьки.

Уследить за молодыми в таком возрасте невозможно, но Женька и сама была умницей и знала, как предохраниться от нежелательных последствий общения с молодым человеком. Детей она не терпела и не хотела, понимая, что ребенок – это конец ее свободной, счастливой жизни, когда можно гулять до утра, сидеть ресторанчике, не считая времени, и гонять на машине с другом всю ночь до рассвета. Она носила теперь туфли на двенадцатисантиметровых шпильках, была тоненькой, как веточка, и стригла челку наискосок – волосок к волоску.

Бабушка, в которую со временем превратилась Валентина Николаевна, Женькиного мальчика на дух не переносила. Хотя дружили они с Женькой уже несколько лет, и ни в чем дурном он замечен не был.

– Сорванный какой-то, – говорила Валентина Николаевна. – Отлип бы уж от тебя. Тебе другой нужен, посолидней.

– Зачем мне солидный, бабуль? С ним со скуки умрешь. А Димка нормальный, поверь мне, и не переживай.

Димка был легок на подъем, денег на Женьку не жалел, и приходил в полный восторг от ее непостоянства и капризов.

В шестьдесят восемь лет Валентина Николаевна вдруг стала слепнуть. Один глаз перестал видеть сразу, в один день, а второй время от времени стала заволакивать пелена, да так, что временами женщина могла различать только световые пятна. Потом пленка исчезала, потом появлялась снова.

Может, не желала Валентина Николаевна что-то видеть в окружающей ее действительности, может, того самого Димку. Может быть, боялась, что настанет день, уйдет любимая дочка-внучка Женька из дома, и останется она одна. А так – кто решится бросить слепого человека?

Женька в это время мучилась сомнениями. Мальчик ей нравился – хоть кричи. Каждая минута, проведенная не с ним, казалась потерянной. Но родная бабушка, ближе которой никого у нее до сих пор не было, стала вдруг помехой в их с Димкой отношениях. Хоть из дома уходи.

Приткнуться влюбленным было негде. У Димки в маленькой двухкомнатной квартире – мать и младшая сестра, у Женьки – подслеповатая бабушка, которая парня терпеть не может. Димка тоже мучился, стал звать Женьку замуж. Женька к бабушке, но та и слышать об этом не хотела. Больше года Женька металась между двух огней.

Струны любви-ненависти этих троих близких людей натянулись так сильно, что где-то должно было неминуемо лопнуть. Рвануло самым неожиданным и страшным образом: Женькин мальчик, делая трюки на мотоцикле, перевернулся, упал, поломался, неделю лежал в реанимации, а потом умер. Женька чуть разум не утратила от горя.

Опять они остались вдвоем. Валентина Николаевна, хотя жалела Женьку, почувствовала облегчение. А у Женьки после этого горестного события личная жизнь измельчала, измельчала и исчезла совсем. Трудно назвать личной жизнью короткие встречи со взрослым мужчиной – знакомым по интернету или с одноклассником, которые вспоминают о тебе, только когда приспичит.

Дома – полуслепая бабушка. Все праздники – в обществе подруги Юльки – такой же одинокой, как и Женька. Работа. Маленький городок, который уже терпеть не можешь. И день за днем – вся эта круговерть.

Потом бабушка совсем перестала видеть, и Женька оказалась крепко-накрепко привязана к дому, к беспомощной бабушке, ко всем этим обстоятельствам, с которыми совладать было невозможно.

Раз в полгода она выбиралась на пару дней то в Москву, то в Минск, то на карельские каньоны, но каждый раз, уезжая, чувствовала себя преступницей, потому что оставляла в одиночестве беспомощного человека. На нервной почве, в поездках у нее – то болели зубы, то мучила тошнота, то давило сердце.

А потом появился Ромка, прямой, как жердь, молодой человек, еще и с разворотом туловища назад при ходьбе. Смешной.

«Ходит, как гусак», – подумала она про него, когда увидела в первый раз.

Но он смотрел на нее с обожанием. Сразу как-то так получилось – влюбился Ромка в Женьку.

Женьке к тому времени исполнилось тридцать два. Уже стали видны на ее лице некие возрастные траты. Она их подмечала, но терпела, а потом вдруг испугалась – жизнь уходит. В ужасе бросилась Женька к врачам, подправила скулы, подкачала губы и улучшила овал лица. Процедуры были болезненными и стоили немалых денег. Вся зарплата теперь уходила на исправление картинки.

Ромка стал наградой за ее смелость и щедрость. Он открыл ей другой мир, который находился совсем рядом – пятнадцать минут неспешным шагом. У него был дом, в который ей нравилось приходить, машина, которой он уверенно управлял. Все в доме – от просторной прихожей до спальни на втором этаже, которую Женьке выделили, как гостье, было ей по душе. Ей нравилась улыбчивая Ромкина мама, деятельная бабушка, их пироги и супы, их внимание и радость, когда она появлялась на пороге. Все летние выходные она теперь проводила на «Ромкиной фазенде». На неделе они встречались с ним после работы и шли в хороший, дорогой ресторан, самый дорогой в городке.

Все было прекрасно, только бабушка, Валентина Николаевна, которой шел 81 год, была против «этого парня».

– Обманет он тебя, – говорила она Женьке. – Дурочка ты. Ему от тебя одного только и надо.

– Бабуль, мне уже тридцать два года. Не поверишь: мне от него нужно то же самое. Известно, кто кого обманет.

Валентина Николаевна не унималась. Женька теряла терпение, срывалась на крик, а Валентина Николаевна, оставшись одна, пугалась одиночества и теряла разум. От былой чистоплотности и приверженности к порядку у Валентины Николаевны и следа не осталось. Возвращаясь домой с работы или с Ромкиной фазенды, Женька теперь частенько обнаруживала в маленькой квартирке грязь и разруху.

Однажды соседи снизу постучали в дверь и пригрозили, что вызовут милицию, если Женька не перестанет истязать старушку.

Терпение Женьки закончилось в конце лета, незадолго до дня рождения. Вернувшись с работы домой, она, с трудом сдерживая подпирившую к горлу тошноту, убрала чудовищное безобразие, сотворенное Валентиной Николаевной, поплакала, подумала, а потом позвонила Ромке.

На следующий день они обзвонили ближайšie дома престарелых и нашли подходящий в нескольких остановках от города. Бабушкиной пенсии хватало, чтобы оплачивать ее пребывание в этом месте.

В следующий понедельник, рано утром, до работы, Женька с Ромкой привезли в богадельню испуганную, ничего не понимающую Валентину Николаевну. На месте все оказалось немного не так, как предполагалось. В хосписе жили и старики, и умирающие от неизлечимых болезней нестарые еще люди. Женя расплакалась, прощаясь до вечера с бабушкой.

– Я приеду после работы, – говорила она, утирая слезы. – Ты побудешь пока здесь. Тебя немного подлечат.

На обратном пути домой они так и условились, что заберут Валентину Николаевну домой немного погодя, как только ей станет лучше.

Вечером, вернувшись из хосписа, Женя плакала, лежа на диване, а Ромка утешал ее, как мог. Он гладил ее плечи, руки. Они то засыпали, то просыпались, и он целовал ее, чтобы ей не было страшно.

День Женьки теперь был плотно загружен: работа, поездка к бабушке, которую она кормила и с которой сидела рядом, держа за руку. Только вечерами Женька в объятиях Ромки ненадолго забывала о своих трудах и горестях.

Это очень непросто – жить в таком режиме. В зеркале теперь она все чаще видела побледневшую, уставшую женщину с явно выраженными отпечатками возраста на лице.

Бабушке не становилось лучше. Она впала в какое-то полубессознательное состояние и пребывала в нем. Иногда она узнавала Женьку и улыбалась ей.

– Зачем ты так мучаешь себя, – говорила ей сердобольная пожилая санитарка с широким добрым лицом. – Ей уже не поможешь.

И Женька думала, что вот так, день за днем и пройдет ее жизнь. Она постареет, станет больной и однажды...

В конце сентября она перестала мотаться в больницу.

Теперь вечерами они сидели с Ромкой в Женькиной квартире, обнявшись, смотрели телевизор или целовались. Иногда они ссорились из-за разбросанных Ромкой вещей или не вымытой посуды. Заложённая Валентиной Николаевной привычка к чистоте и порядку никуда не делась. Иногда Женька сердилась на Ромкину безалаберность и неаккуратность, но потом вспоминала о своих одиноких длинных годах после ухода Димки, и понимала, что все пустое, кроме любви, и жизнь, в общем-то, хороша

## Юрик в яблоках

Машку с ее двоюродным братом Жорой всегда больше разделяло, чем связывало.

Во-первых, разница в возрасте. Когда тебе десять, а ему четыре, ничего вас не объединяет, кроме общей территории. Дедовский дом и большой двор вокруг этого дома принадлежал всем, но здесь и без малышей в любое время было чем заняться.

Жорку звали в компанию, когда играли в дочки-матери, и по сюжету требовался ребенок, которого нужно воспитывать и с которым можно нянчиться. Такое случалось нечасто, потому что в начале семидесятых Машка была окружена сплошь пацаньей публикой – одни братья – и девчачьи игры у них не приживались.

Машка в те времена смотрела на двоюродного брата Жорку, как на какого-нибудь муравья или жука – с высоты своих лет. Он был, конечно, затейливой штучкой, отличался от других братьев серьезностью лица и строгостью нрава, порой говорил такие вещи, которые и взрослому помыслить непросто, но был слишком мал, слишком хрупок, слишком невинно-голубоглаз. Ни к чему его не приспособишь, ни для чего он не годен: ни для катания на плотках по заросшему осокой пруду, ни для больших прятков на просторной территории ветлечебницы, граничившей с домом бабушки, не говоря уже об освоении запредельных территорий, на которые и самой Машке соваться было запрещено.

В Машкиной памяти Жора надолго застрял в образе серьезного смуглолицего малыша, с всегда аккуратной стрижкой полубокс, ярко-красными, девчачьими губами и пронзительно – голубыми, внимательными глазами. Жорку привозили к бабушке на Алтай в начале июня и забирали в конце августа. За три месяца ребенок должен был, по мнению Жоркиной матери, загореть и набраться витаминов, чтобы без болезней пережить длинную, темную, холодную зиму в заполярном городе Воркута.

Пока Машка в компании другого двоюродного брата, восьмилетнего Сени, носилась по ближайшим окрестностям бабушкиного дома – за конюшней, в маленьком лесу, за огородом, вблизи пруда, год от года подрастающий, но все же маленький Жорка, занимался делом. Он лепил. Он мог часами напролет лепить из пластилина, отвлекаясь только на обед и послеобеденный чай с гренками.

Бабушка выделила Жорке под мастерскую старый кожаный диван, занимавший половину дощатой веранды. В комнатах дома лепить не запрещалось, но и не приветствовалось.

С веранды вели три двери. Одна, тяжелая, обитая войлоком и дерматином, с массивным крюком-запором – внутрь дома, в комнаты. Другая – в темную кладовку. И третья – на просторное, в первой половине дня залитое солнцем крыльцо. От темной кладовой Жорка старался держаться подальше и не поворачиваться к ней спиной, не то, чтобы боялся, а так, на всякий случай. Время от времени он отрывался от работы, поднимал голову и прислушивался к сухим тихим шорохам, доносившимся из темного помещения.

– Он боится, – сказал Сеня, сам никогда в одиночку в кладовку не входивший.

– А может и не боится. Надо проверить, – предложила Машка.

Проверка подтвердила предположение. Жора боялся. Он боялся темного помещения, пронизанного пыльными лучами света, шевелящихся в углах паучьих сетей и мышиноного лаза под этажеркой.

Это было чудесное открытие. Не воспользоваться им Машка с Сеней не могли. Когда выдавалась свободная минута, они вдвоем пробирались в кладовку, прикрывали дверь и, уловив момент, начинали завывать оттуда дурными голосами. Происходило это, когда ничего не подозревавший ребенок сидел на веранде и занимался делом. Жорка, услышав вопли, вздрагивал, соскакивал с дивана и с плачем бежал в дом.

Машка с Сеней предпочитали не дожидаться разборок. Они выскакивали из кладовки на веранду, оттуда на крыльцо, с гоготом скатывались по высоким ступенькам на землю и мчались мимо радостно лающего Барсика, любившего поддержать общую суматоху, через двор, за сарай, в огород и там – по тропинке мимо Танашкинского дома, как его называли взрослые, на большую территорию ветучастка.

Когда дед с веником в руке выходил на веранду, хулиганов уже не было и в помине. Дед поворачивался к Жорке, гладил его жесткой рукой по аккуратному полубоксу, ставил веник за старую этажерку и говорил ласково:

– Дуралеи! Только бы безобразничать. Никому нет от них покоя. Не обращай внимание. Занимайся делом. Посмотри, какую красоту ты слепил!

И здесь он был прав на все сто. Жорка был мастер, творец в свои четыре, пять, шесть, семь лет. Лепил он исключительно коней и все, что с ними связано. На большой картонке, бывшей когда-то упаковкой от холодильника, Жорка создавал свой мир, в котором торжествовала гармония и красота. И носителями ее были лошади – их летящие по ветру гривы и хвосты, точеные ноги и крохотные копытца, их изящные сильные тела, гордые морды и огненные глаза. Тщательно были вылеплены конюшни, загоны, поилки, все, без чего этому чуду природы нелегко было бы существовать в прекрасном лошадином мире. Мир был живой и самый что ни на есть настоящий. Людей в этом мире не было, потому что в Жоркином малорослом понимании люди ни в какое сравнение не шли с его великолепными обитателями – ни душой, ни статью.

Как-то Жорка все-таки сотворил человека. Произошло это событие после неспешной беседы с бабушкой за чаем с печеньем и домашним смородиновым вареньем. Бабушка была убеждена, что без конюха лошадям не прожить. Ни поесть, ни попить. Жорка спорил, но бабушкин жизненный опыт превозмог интуитивное Жоркино понимание красоты и гармонии. Малыш сдался, а, может быть, просто не захотел ее расстраивать. Он любил бабушку.

– Это Юрик, главный конюх, – однажды объявил он церемонно, и губы его сложились в брезгливую гримаску. – Он будет чистить конюшни и наполнять водой поилки.

Вида Юрик был непрезентабельного – с кривой спиной, тонкими – колесом – ногами и длинными прутиками-руками. Нос его круто загибался вниз и в сторону, глаза косили, волосы на голове висели сосульками.

Конюх прожил на картонке ровно дня два. Вначале он скромно стоял, прислонившись к воротам загона, где почти не выделялся на фоне столбов и жердей ограждения. Потом Жорка выселил его на край лошадиного царства, за угол конюшни – с глаз долой, а на следующий день и вовсе сломал, скомкав в черно-синюю бесформенную массу. Через несколько дней из Юрика получился синий в черных яблоках конь с приподнятой передней правой ногой и огненным косящим глазом.

– Зачем ты сломал конюха? – спросила бабушка, внимательно следившая за работой внука. – Кто же будет выводить лошадей на водопой?

– Они сами прекрасно могут это сделать, – ответил мальчик серьезно. – Ты знаешь, Юрик не такой уж и добрый. Я видел недавно, как он с размаха хлестанул плеткой Гнедка.

Дед души в Жорке не чаял и ставил его в пример всей остальной бестолковой ребячьей братии, от которой всего можно было ожидать, вплоть до нечаянного членовредительства. Жорка не лез под качающийся платяной шкаф в поисках крысиной дыры, не потрошил домашнюю аптечку, в которой когда-то, «совершенно точно хранились витамины», не дразнил лохматого Барсика и не карабкался по яблоне, ломая ветки и обдирая колени.

– Гений! Руся, он гений, не иначе! – говорил дед бабушке. – Я, сколько живу, еще не видел, чтобы мальчик создавал такие скульптуры! Это же настоящие кони! Поверь, уж я-то разбираюсь в этом вопросе.

Дед знал толк в лошадях. Молодость он провел в седле, мотаясь от аула к аулу по казахским степям. Это были тридцатые годы двадцатого столетия. Он в то время занимал должность главного ветеринарного врача Южно-Казахстанской области, территорию обслуживал огромную, а другим транспортом, кроме лошадей, их ветеринарное ведомство не располагало.

Приходилось ему работать и в соседствующих с Казахстаном Киргизии и Китае, откуда, собственно, и был привезен серый кожаный диван – место творческих порывов юного скульптора. Неисповедимы пути...

Бабушка более сдержанно относилась к талантам внука, но и она допускала, что «из мальчика может выйти толк», о чем она докладывала каждый раз Тасе, матери Жорки и их с дедом дочери, когда та приезжала, чтобы забрать ребенка обратно на севера. Тася воспринимала их слова как должное, потому что знала, что лучше ребенка на свете нет, и никогда не будет.

Только для Жоркиных братьев и сестер превосходные эпитеты взрослых не имели веса. Он так и оставался вне их веселой компании много лет подряд, просто потому, что был слишком мал.

В Машкины подростковые годы их с Жоркой разница в возрасте приобрела размеры пропасти. Ей было семнадцать, а ему одиннадцать, ей двадцать, а ему четырнадцать. И так до Жоркиных двадцати пяти. В двадцать четыре Жорка женился, через год у него родилась дочь, и он сразу повзрослел в глазах родственников.

Машка уже шесть лет сидела с двумя отпрысками, появившимися на свет с разницей в два года. Она устала, утратила былую уверенность и бойкость, ей казалось, что время остановилось, а жизнь уже не сулит больше ничего интересного. Внешне она мало поменялась, была все такой же худой и бледной, как до замужества, но дети почти полностью уничтожили ее юношеский эгоцентризм, который, как оказалось, был основой ее сущности, на смену ему пришло немного терпимости, немного нежности, немного любви. И ничего целостного, достойного внимания не получилось.

Жоркины перемены, наоборот, коснулись, по большей части, видимой стороны его жизни и его внешности. Если бы кто-то попытался заглянуть в его душу, то увидел бы все того же маленького мальчика, только еще менее, чем двадцать лет назад, уверенного в своей значимости, потому что сейчас он был и жил, как все другие. У него не было табуна пластилиновых коней, не было большого старого дивана, а дед, безоговорочно веривший в него, давно умер.

После школы по настоянию матери, Жора окончил политех, получил диплом и убрал его подальше, чтобы больше никогда не доставать, потому что вся «эта инженерия» его абсолютно не интересовала. Существовали вещи куда более важные, он это интуитивно чувствовал, он даже знал о них когда-то. Знал, но забыл.

Следующие двадцать лет Жорка зарабатывал деньги, растил дочь, отдалялся от жены, менял профессии. Но все было не то.

Машка тоже экспериментировала с жизнью, иногда нащупывала твердую почву под ногами, а потом снова теряла ее.

В какой-то момент они как будто стали ближе. Оба многое утратили, главное – разминутись с собой, и поиски пока не приносили результата. Возможно, их встреча, если бы такая произошла, привела бы к дружбе, но Машка в это время перебралась на крайний запад России, а Жорка всем своим семейством обосновался на Алтае. И вновь расстояние между ними, уже выраженное не в годах, а в тысячах километров, развело их.

На Алтае Жорка прижился, как никто другой, потому что испытывал бесконечное блаженство от яркого солнца, летней сухой жары, тихой рыбалки на маленькой речке, буйной растительности на любом клочке земли, куда упало живое семя. Здесь, наконец, он избавился от страха выезжать из города, за пределы тесного проживания людей, где заканчивается цивилизация и подступает тундра, болото, мошка, а зимой лютый мороз с ветром. У него прошла

детская непереносимость солнечного света, и он стал покрываться летом красивым ровным загаром. Он похорошел еще больше, но уже другой – мужской – красотой.

В двадцать четыре года он женился на миловидной, худенькой девушке с капризным характером, который забавлял Жорку, но раздражал его мать, желавшую большего счастья для своего сына. Через год у Жорки родилась дочь, и, чтобы кормить семью, он открыл кафе на пересечении двух больших дорог – для странствующего люда. Собственное дело, капризная жена и маленькая дочь требовали его постоянного внимания. Он работал, занимался своими женщинами, матерью, и совсем не бедствовал. Дела в кафе шли бойко. Только чего-то все время не хватало.

Когда дочь выросла и уехала учиться в мединститут, он вдруг обнаружил, что повзрослел и изменился. Прежние отношения в семье больше не радовали его, он подумал, подумал и развелся. Маета не прошла, но утихла на время.

Манька все это время крутилась в своем колесе, варила в старом бульончике, все еще пыталась договориться со старым мужем, и вот уже двенадцать лет сидела на одном месте. Только в детстве она так надолго задерживалась на одной жердочке, птичка наша.

Жорка через три года женился. У него родился сын. Эта перемена слагаемых на время приглушила его душевные метания. Новая жена Жорки была женщиной независимой, работала директором в школе и намерена была самостоятельно определять дистанцию с мужем, его друзьями и его матерью. Жорка, до сих пор крепко-накрепко привязанный к матери, постепенно стал отдаляться от нее.

Теперь Жорка с новой верткой и умной женой мчался по жизни дальше, оставив позади не только мать, но и Машку. Он перешел из малого ресторанного бизнеса, который крышевали правоохранительные органы, в те самые правоохранительные органы. Быстро дорос до майора, потом до подполковника, перебрался в деревню, в просторный дом жены, и через несколько лет собирался выйти на раннюю, по выслуге лет, пенсию, с невиданными для простого смертного пенсионными выплатами. И заняться чем-нибудь «для души».

Машка с Жоркой встретились через много лет в тяжелый для Машки день – в день похорон ее матери. Они не общались лет десять или больше. До этого несколько раз виделись мимоходом, чуть ли не из окна машины, когда раз в несколько лет Машка навещала родителей в гости.

– Привет!

– Привет! – и взмах рукой.

Она летела, потом ехала всю ночь, потом сидела возле гроба, в котором лежало чужое существо, не имевшее никакого отношения к тому, кого она много лет так сложно и так сильно любила. Вокруг были женщины с заплаканными глазами и Жоркина мать тоже. Входили и выходили люди, говорили слова сочувствия. Потом вошел мужчина с аккуратной стрижкой, смуглый, с невиданно синими для его возраста глазами. И Машка узнала Жорку. Машка встала, подошла к нему, обняла.

– Ничего-ничего, – сказал он тихо куда-то ей в макушку. – Терпи.

Она вернулась к гробу, к лежащей в нем мумии, которую все называли ее матерью, но которая – совершенно очевидно – ею не была. Мать была где-то рядом, но не там. Машка подняла глаза, наткнулась на взгляд Жорки и поняла, что он тоже это знает.

Пришел батюшка, совершил таинство отпевания. В два часа пополудни гроб поставили в микроавтобус и в сопровождении других машин повезли на кладбище. Жорка ехал на служебной полицейской машине и добавлял процессии весомости.

– Все ночь не спал, – сказала мать Жорки, тетя Тася. – Вызвали ночью. Пьяная драка. Один другого пырнул ножом. Вот такая у него работа. Скорее бы вышел на пенсию, а то никакой жизни нет. Нет покоя ни днем, ни ночью.

Машка кивала головой в такт ее словам.

– У него хорошая пенсия. Тысяч восемьдесят будет, не меньше. Майор сейчас. Может, перед уходом подполковника дадут. Можно и не работать, – сказала тетя Тася и вытерла платочком покрасневшие от слез глаза.

– Эх, Аля, Аля, никого смерть не щадит.

Машка пребывала весь день в полуобморочном состоянии. Ею будто кто-то руководил. Она здоровалась с людьми, выслушивала соболезнования, без сожаления прощалась. Она садилась, вставала, шла, ехала, когда было нужно. Был момент, когда она испытала потрясение, но и этот момент сразу ушел в прошлое, уступив место текущим событиям.

Она попрощалась со всеми после поминального ужина, выслушав в который уже раз недоуменное:

– Кто бы мог подумать! Кто бы мог представить, что Аля!..

Все разъехались. Они остались вдвоем с отцом в опустевшем доме. Ночью она испытала настоящий ужас, потому что спать в комнате, где умерла два дня назад мама, она не могла. Она примостилась в большой, где несколько часов назад стоял гроб и ходили люди. Уснула ли она, наконец? Наверное, да, потому что, когда она обнаруживала себя опять, ее колотила крупная дрожь.

На следующий день вечером, ощущая разлад во всем теле, она быстро собралась и уехала домой. Быстрее, быстрее. Она бежала. Отец остался один в большом доме, в своей маленькой комнате, потерянный и испуганный – он не знал, как жить дальше. Раньше обо всем беспокоилась мама.

С этого дня Машка в свою вечернюю молитву включила еще одного человека – Жорку. Она знала, была уверена, что о нем есть кому помолиться, но это было неважно. Имело значение кое-что другое. И Машка помнила об этом.

– Жорка завел конюшню, – сказал как-то по телефону отец.

– Он всегда хотел. – засмеялась Машка. – Только когда ему возиться с лошадьми. Нужно время.

– Он выходит на пенсию через месяц. Таисия Авдеевна, – так отец называл золовку. – Говорит, что у него пенсия под сто тысяч.

– Да ладно? – удивлялась Машка. – Прямо-таки сто?

– Говорят

– Тогда можно и конюшню.

– Совсем мать перестанет навещать, – сказал отец.

– Редко бывает у тети Таси?

– Забежит на полчаса, поест и опять на работу.

– А какие у нее еще заботы – покормить его, да посмотреть, что здоров.

– Говорит, что помогает мало.

– Это она так, чтобы другие не завидовали.

Машка знала кое-что про Жорку, чего не знал никто. И потому, кто бы и что бы ни говорил о нем, она была уверена, что все он делает правильно. Она, улыбаясь, вспоминала их последнюю встречу, и видела перед собой голубоглазого пацана с пластилиновым табуном на белой картонке.

В феврале у Жорки прихватило сердце.

Машка позвонила ему в больницу.

– Привет, – сказала она. – Привет, брат. Что, хандришь?

– Как ты меня нашла? Здесь! – оторопел Жорка.

– Отец сказал, что ты в больнице. Вот звоню. Что это ты? Без радости живешь? Не просто так ведь болит.

– Устал просто. Перенервничал на работе. Скоро выпишут. Ты сама как?

– Сама нормально. Тебя вспоминаю частенько.

– Что это вдруг?

– Потому что помню, все помню. Твоих коней на картонке, конюха дядю Юру, уничтоженного в день творения, за то, что недостаточно ласков с лошадьми. Помню твою полицейскую машину в день маминых похорон. Помнишь, ты сказал: «У меня есть буксировочная лента, Опустим на ней», когда оказалось, что не взяли на кладбище веревки и мамин гроб не можем спустить в открытую могилу.

– А, вон ты о чем? – он засмеялся. – Я просто сообразительный.

– Спасибо тебе, – сказала Машка, чувствуя, как дрогнул голос. – Держись там брат. Я тебя люблю. Держись там.

После выписки из стационара Жора еще месяц восстанавливался дома. Врачи постарались – ему все было запрещено. Все, что в последнее время приносило облегчение.

В какой-то из дней он бесцельно бродил по двору с мыслью: «Ну вот и приехали» и наткнулся на ведро с глиной, которой жена Ольга замазывала щели в сарае. Он взял в руки кусок, размял его, ощущая прилив тихой радости, взявшей неведомо откуда. Руки все помнили и все сделали сами. Он мог бы закрыть глаза, но все равно получилось бы то же: гордая шея, тонкая голова, чуткие уши и волнистая грива. То, что вышло, было не совсем точно, но невыразимо прекрасно.

Жора позвонил через год, весной.

– Ну, что сестра, твои молитвы были услышаны, – сказал он хорошим голосом.

– Интересно! Как ты это понял?

– Загляни на мою страничку. Дочь Катерина вывела меня в свет. Долго рассказывать не буду. Посмотришь, напиши, что думаешь. Только честно.

Вечером Машка нашла страничку Жорки в социальных сетях. Страничка была новенькая, свеженькая, без излишеств. Главным ее украшением была яркая афиша, приглашавшая всех желающих на выставку в картинную галерею краевого центра. Маша открыла каталог и ахнула. Десятки лошадей скакали, стояли, лежали. Разные, но почерк она узнала сразу. Голубоглазый серьезный мальчик мог сделать такое. Только он/

## **Взятие Бастилии**

С наступлением октября Фома Богачев стал выходить из дома после десяти утра. Осенью и зимой выходить раньше не имело смысла: светает поздно, а идти по городу, вся красота которого скрыта в темноте, малоинтересно. Есть города, которым сумерки на пользу. Они выигрывают от подсветки, подчеркивающей их достоинства и скрывающей недостатки, но это никак не относится к Греноблю.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.